

Ирина Абрамкина



БЕЛАЯ
КНИГА 
ДЕТСТВА

Ирина Александровна Абрамкина

Белая книга детства

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67707323

SelfPub; 2022

Аннотация

Я посвящаю эту работу светлой памяти Романа Алексеевича Абрамкина, моего единственного сына. Маленькая художественная зарисовка – воспоминания обычного ребёнка, несколько строк в биографии нашей большой страны. Я писала книгу для своего мальчика, чтобы рассказать обо всех нас, какими же мы были счастливыми!

Хочу поделиться с вами своей историей и пожелать вам и вашим любимым радости созидания и чудесных открытий. Оставайтесь вместе и будьте детьми. Как можно дольше.

Счастье в простых вещах. Их не нужно покупать, нужно просто любить.

Содержание

Парк «Дельфин».	6
ВОГРЭС.	16
Перелёшино.	28
Бахчеево.	59
Больницы.	64
Прощай, детство!	66

Ирина Абрамкина

Белая книга детства

«Молоко! Молоко!»

Сквозь веки осязаю солнце, разлитое, ласковое. Не хочу открывать глаза, чтобы не спугнуть очарование минувшей беззаботности тогдашнего покоя.

Молочница гремит тележкой и останавливается под моим балконом. Бабушка готовит бидон, звякнула крышкой. Мне идти, но я притворяюсь, что сплю. Боюсь, что если открою глаза, то все это теплое, нежное, счастливое вспорхнет и исчезнет, навсегда раствориться в небытие. Я боюсь отпустить его, время непогрешимого, скоротечного детства, когда несешься по холодным бетонным ступеням босиком, перескакивая через две. Только бы не расплескать молоко.

Кружечку сразу налью, а потом горбушку хлеба намажу тягучим медом. Бабушка говорит, что мед записать холодным молоком нельзя. А еще взрослые рассказывали, что однажды на пасеке мужик меда отведал и из колодца студеной водой запил, тут его и парализовало, поэтому я на всякий случай держу молоко во рту, вроде как «грею».

Я только руки свои и вижу: запястья тонкие и пальцы узловатые, как у папы. Некрасивые пальцы и ногти ущербные, бесформенные, маленькие (детские), нет беленьких «счаст-

ливых» полукружий. Когда я перед сном загадываю желания, то одно из них, чтобы ногти у меня были красивой формы, «как у взрослой». Но это никогда не сбывается. Ничего не сбывается из того, что задумываешь перед сном.

Парк «Дельфин».

В отличие от «Алых Парусов» на Арзамасской и «Динамо» возле одноименного спорткомплекса, этот назывался просто «парк». Чтобы попасть туда, достаточно было пересечь Ленинский проспект, пройти по аллее славы, где с обеих сторон на тебя смотрели портреты фронтовиков и героев труда Левобережья, обойти красивое современное здание ДК «электроника», выстроенное на средства одноименного предприятия, и готово! Ты погружаешься в сосновую прохладу детского парка. Здесь было все, что так будоражит воображение ребенка, а под покровом темноты прячет первые робкие юношеские вздохи: деревянные избушки, карусели, горки, две многопрофильные спортивные коробки, огороженные сеткой, тренировочный манеж с надувной крышей, маяк и пляж.

Я помню радостное возбуждение, что охватывало меня в редкие походы с родителями на водохранилище. Мать собирала какой-нибудь еды, находилось покрывало не слишком новое, да такое и не нужно на пляж. Мы выбирались все вчетвером, и это были мгновения, делающие нашу семью почти нормальной. Мы с братом быстро переняли манеру ходить на пляж и в парк, и делали это с завидной регулярностью. Он и другие мальчишки брали меня с собой, пока я

была мала.

Я помню это сладостное ощущение освобождения от оков цивилизации, когда мы переходили крошечную улочку, название которой затерялось в памяти, и разувались, потому что дальше дорога вела только на пляж. И сначала под ногами был горячий, мягкий асфальт, а потом сосновые иголки и шишки, и, наконец, песок – раскаленный, белый. Песок, завезенный сюда специально, потому что до моего рождения берега реки Воронеж (тогда еще никакого не водохранилища, втиснутого в бетонные плиты и гибнущего на потребу растущему промышленному агломерату) были покрыты травой, и колокольчики здесь росли по пояс. А мои маленькие ножки знали только песок, и переминаясь, ожидали, когда мать расстелет покрывало. У воды песок был мокрым и холодным. Можно было строить крепости и просто «лить» его, создавая сказочные строения, похожие на оплавленные восковые свечи. А более всего мне нравилось копать ямки, наблюдая, как быстро они заполняются водой. И белый сверху песок, ниже становится синюшным, почти черным – так прорывалась сквозь его зыбучую толщу земля, которая никуда не делась, а просто укрыта этой белой шубой. Нет колокольчиков, но кое-где даже из песка пробивается трава. Земля всегда здесь, как ни калечь ее, как ни украшай – единственная константа в этом уравнении.

Северный мост тогда еще только строился – из воды тор-

чали железобетонные конструкции, вблизи которых была самая глубина. Там меня учили плавать. Редкое лето я проводила в городе, но это было именно такое лето или просто конец августа. Мы отправились отдыхать в усиленном составе – с нами был дядя Юра по прозвищу «Фрондисий». Человек, подаривший Саше форму хоккейного клуба «Буран» и клюшку «Мукачево». Был ли он болельщиком или хоккеистом, я не знаю. Но долгое время этот человек был вхож в наш дом, шутил, смеялся с нами и приносил хоккейные шайбы. Наверное, именно Фрондисий отнес меня на глубину и предательски оставил там, где ноги уже едва доставали дно. Меня неудержимо несло туда, где провал, пропасть. Темная, отвратительно пахнущая тиной вода, сомкнулась надо мной, но лишь на мгновение. А потом я уже барахталась изо всех сил, кричала и плакала. Саша, ростом гораздо выше, вывел меня на мелководье и там учил плавать. Мы были, как испуганные котята все наше долгое детство – жались друг к другу, и он так много дал мне. А я... надеюсь, что хотя бы скрашивала его одиночество.

Я прекрасно плаваю до сих пор, но панически боюсь глубины. И все же заплываю за буйки, дрожа от страха, твердо следуя концепции своей жизни – преодолевать трудности.

На пляже мы ели с большим аппетитом. Обычно это были вареные яйца, перья зеленого лука, хлеб и редис. Редко – колбаса. «Любительская», «Эстонская» по 2 рубля 20 копеек

или шпиг. Накупавшись до посинения мы плюхались, дрожая всем телом, за накрытый матерью импровизированный стол. А отец приносил бутылку «Лимонада». Его продавали в двух шагах от нас: на асфальтовой дорожке останавливалась тележка с напитками. Иногда мы получали мороженое по 10 копеек. Брат любил «Фруктовое», а я «Молочное». Мы, конечно, обожали брикеты и вафельные стаканчики, но это стоило уже 13 копеек или 15, если пломбир – такая роскошь позволительна была только у бабушки во время похода в кинотеатр.

Мороженое съедалось, а палочка стаканчик вовлекались в игру: можно было делать «пирожки» из песка или носить стаканчиком воду, пока он не расклеится, а палочкой отделять свою крепость, чертить дороги, дырявить окна и бойницы.

Найти красивую ракушку – вот был праздник! Но воронежское водохранилище было богато плоскими шкатулками несъедобных устриц и крайне мало воспроизводило на свет вычурных улиток. И все же панцири их попадались нам. В отличие от устричных раковин, твердых, как камень, улиточные домики были хрупкими и ломались. А по цвету не отличались от устриц и речного дна – такие же зеленовато-бурые, нерадостные.

Из устричных ракушек необходимо было добыть вожаденный перламутр – это же драгоценность, годящаяся и для украшения, и для поделок, и для «секретиков». Этому Са-

ша обучился в определенном возрасте, он каким-то образом вытачивал перламутровые поделки. Но занятие оказалось трудоемкое и малоинтересное – игрушки для нищеты, пытающейся в детстве хоть как-то развлечь себя, подпитываясь врожденной тягой к прекрасному.

На покрывале от мокрых плавок оставался след. Но сидеть на песке я не любила. Он был горячим и забивался под трусы. Это была та ложка дегтя, что портила прелесть отдыха: ноги, попа, живот и спина в белом песке. Он подсыхал, стягивая кожу, и мы снова срывались в воду, чтобы смыть с себя эту скрипящую кольчугу. Худые, поджарые, загорелые тела несутся по берегу, молча или с криком, врезаются в воду и с силой преодолевают ее сопротивление – вот оно, мое детство. Мир, порою казавшийся невыносимым. А сейчас, после сорока, так много обнаруживается в этом мире прекрасного и безвозвратно утраченного, что сердце сжимается от боли, и слезы застилают глаза.

Детское восприятие фрагментарно и ограничено. Мы просто впитываем в себя окружающую действительность, и не в силах обработать такой огромный объем информации, делим в памяти на локальные сектора. Вот так же отдых в городском парке подразделяется для меня на зоны. Здесь, на пляже, все зависело от выбранного места. Можно устроиться у моста – это место было предпочтительнее для взрослых из-

за глубины. Мне нравилось ходить под недостроенным мостом, там как-то по-особому плескалась вода, и все звуки трансформировались в некое подобие музыки. Близость воды и немислимых бетонных конструкций пугала меня. Казалось, что здесь, под мостом, река отчаяннее всего борется за свою свободу, которой уже не бывать. Может быть через столетия, когда разрушится мост, река будет еще жива, и омывая его останки, утопит все воспоминания о страшном индустриальном мире, в который было втиснуто мое детство. Но иногда реки проигрывают и пересыхают. Просто не хватает сил.

Середина пляжа была самой оживленной – здесь предпочитали размещаться семьи с детьми. В какой-то период тут появилась будка спасателя, совмещенная с прокатом катамаранов и лодок. Потом выстроили «пантон» с длинным ведущим к нему трапом. Внутри «пантона» растянулись дорожки для спортивных соревнований. Но там я купалась уже будучи подростком. А когда мне было семнадцать, будка спасателя обветшала, разрушенная и непригодная ни на что, кроме как спрятаться от дождя и покурить.

И был еще маяк! О, это сказочное, восхитительное строение. Не знаю, выполняло ли оно свою главную функцию (я поднималась на самый верх по крутой винтовой лестнице лишь однажды – и тогда там точно уже ничего не работало), но радости нам, детям, маяк доставил немало. Он высился, будто сказочная башня. Массивные окованные двери, стили-

зованные под старину, металлические лестницы, выкрашенные неизменно в черный цвет, ведущие на второй ярус, который деревянным настилом опоясывал башню. И горка, спускающаяся прямо в воду. Когда я была маленькая, с этой горки катались мальчики. Съехать с такой с головокружительной скоростью – от этого дух захватывало! Она была очень крутая и скользкая. Скоростной экспресс без промежуточных станций. Но я подрастала, а река уходила, и горка бессмысленно мокла теперь на мелководье – никто не рискнул бы скатиться с такой крутой высоты, чтобы отбить себе зад о речные камни. Горка теперь была функциональна только зимой. А летом под ней можно было лазить, как обезьянка, перехватываясь за металлические крепежные конструкции, собирать острые камешки, и пытаться забраться по крутому накатанному спуску наверх.

Дальше за маяком песчаный пляж обрывался. Здесь росла трава и кустарники – там было мало народу. В андроповские времена под сенью жидких посадок ютились в основном те, кто пришел на пляж с бутылочкой. Дно здесь было неухоженное и вода мутная.

В дни моего детства водохранилище и пляж содержались в относительном порядке за счет коммунистических субботников на предприятиях. Позже весь этот добровольно-принудительный экологический десант накрылся медным тазом, и река выглядела устрашающе, зарастая тиной. В водоеме постоянно находили какие-то кишечные палочки, то холеру,

то даже Палочку Коха. А может, это были злонамеренно распространенные слухи, мотивация которых мне неясна.

От палящего солнца на пляже можно было укрыться под сенью маленького лесопарка. Он представлял собою узкую полосу соснового массива, обильно напичканного развлекательными аттракционами. Здесь было все самое любимое советскими детьми. Автодром: можно было взять велосипедки, машинки и лошадки на колесах на прокат и ездить по пересеченной местности с мостиками, поворотами и дорожными знаками. Деревянная карусель для малышей – с лошадками, саночками и машинками. Моя любимая «Ромашка» – единственная карусель, на которой, преодолевая боязнь высоты, я каталась – там как-то жестко все фиксировалось, казалось надежным. Был «Ветерок» – аттракцион на цепях. Я никогда так и не решилась прокатиться на нем. «Сатурн» – дань космической эпопее. А еще были качели и разные скульптуры деревянного зодчества: богатырей, Змея Горыныча и камень – указатель, ка в сказке. Зимой на центральной аллее в парке заливали длиннущую ледяную горку – можно было катиться до самого маяка, а при наличии определенной экипировки (кусоч оргалита под попу) – вылететь на лед водохранилища! На горке всегда было столпотворение. Но девочкой не слишком приятно попадать в кучу-малу из орущих пацанов. С горки возвращались насквозь промокшие, а иногда в синяках и ссадинах. Хорошо, если

мне удавалось пойти туда с братом – я чувствовала себя под его защитой.

В парк или из парка мы всегда проходили мимо «Манежа» – в нем тренировались спортсмены. Крыша у этого здания была надувная. Меня это восхищало. Само слово «манеж» вызвало у меня представление о каких-то чудесах, творящихся там внутри. Грезились лошадки с плюмажем, акробаты и канатоходцы. Но это был спортивный манеж. Внутри густо пахло потом. Я лишь однажды заходила туда и только раз видела крышу манежа сдутой. Это меня рассмешило: про компрессоры я знать не знала тогда, и все гадала, сколько велосипедных насосов понадобится, чтобы заново накачать купол?

Теперь парк «Дельфин» кажется заброшенным. Я узнала об этом по фотографиям, случайно найденным в интернете. Обветшал и разрушается маяк, зарос автодром. Смотреть на это так грустно, потому что нет возврата в детство. В то прекрасно советское детство, где даже для нас, бедных детей из простых рабочих семей, было столько радости. И бесполезно вопрошать, почему? История вершит свой суд неумолимой дланью. Выносит приговор и нашему прошлому, и нашим воспоминаниям. И в Google Maps я нахожу фотографии заброшенного парка. Кому-то нравятся эти снимки – выглядят они, как интерьеры апокалипсиса, завораживают своей ко-

нечностью. А я с печалью в сердце понимаю: все архиважное для меня. Все, что пытаюсь воскресить и удержать в своей памяти, в реальной жизни ушло в небытие. И никому, кроме меня уже не интересно.

ВОГРЭС.

На вопрос, где я родилась, можно ответить коротко и ёмко – на ВОГРЭСЕ. И благодаря группе «Сектор Газа» это название известно не только воронежцам. Однако, мало кто понимает, что ВОГРЭС – это не просто энергетическая станция и жилой массив, отстроенный вблизи стратегически важного предприятия. ВОГРЭС – это история, это своя субкультура с паршивой экологией и выдающимися людьми.

Я появилась на свет во 2-ом роддоме Левобережного района, а напротив него на кинотеатре «Родина» висела афиша фильма «Анжелика – маркиза ангелов». И мама, моя молодая мама очень хотела попасть на этот фильм. В кинотеатре было два зала «Голубой» и «Красный». Буфет, где в металлических вазочках подавали пломбир, политый грушевым сиропом. Пломбир выкладывали шариками и стоил он 22 копейки! Можно было купить мороженое в киоске у кинотеатра, это дешевле, но далеко не так сказочно. В этом самом кинотеатре я в школьные годы пересмотрела кучу фильмов, и вход стоил 10 копеек. «Черный Тюльпан», «Непобедимый», «Месть вне Закона» – о, герои моего детства! Как вы были благородны и чисты, как прекрасны ваши устремления и помыслы!

В центре города, на правом берегу, у нас работал огром-

ный кинотеатр «Пролетарий». Удивительное здание будущего – стекло и бетон. Поездки туда считались особым праздником. Однажды (я тогда была воспитанницей подготовительной группы детского сада), мама, Саша и я отправились в «Пролетарий» смотреть фантастический фильм «Дознание пилота Пиркса». На афише значилось: «Дети до 16-ти лет не допускаются!» Но Сашу длинноноголявого пропустили, а для меня в тот день состоялось первое знакомство с правоохранительными органами. С боку от центрального входа в кинотеатр размещалась «детская комната милиции» – помещение с игрушками, проектором диафильмов и мягким ковром. Там в течение всего сеанса тетенька в милицейской форме заменяла нам, отсеянным по возрасту, родителей, пока те бессовестно смотрели фильм. Тетенька была милостивой, белокурой и показывала нам какой-то мультик в картинках. В зрелом возрасте я-таки посмотрела «Дознание пилота Пиркса», но так и не поняла, почему поставили такой рейтинг. Ничего такого ужасного. Фильм не очень запомнился, а вот «детская комната милиции» запомнилась на всю жизнь.

Но чаще всего, почти каждые выходные, я проводила пару-тройку часов в «Родине». Я любила площадь у кинотеатра, две массивные тумбы с афишами фильмов. Сидя на лавочке лопать сливочный брикет. Он таял в руках, и с него капало, но я обожала есть вафли – одна из них всегда была суховата, а вторая сочная, пропитанная мороженым. Я лю-

била смотреть через дорогу на серое здание 2-го роддома – там я появилась на свет, и это было так удивительно, это было что-то вроде стартовой площадки: «Вот здесь все началось». А еще неподалеку располагалось кафе «Нептун» с чеканной советской вывеской, подвешенной на цепях – и блинная, и пивная. Чеканка была темной, а внутри пахло блинами, к которым подавали сметану в граненом стакане. Отец заходил туда выпить пива, и мне покупал компот или кисель. А бабушка Дуся, папина мама, водила нас туда с двоюродным братом Алешей кушать резиновые блины или пельмени.

Обе мои бабушки жили на ВОГРЭСЕ, на улице Меркулова (бывший переулок Светлый). Попали они туда разными путями, но судьбы их навсегда связал союз детей. Все «мои» всю жизнь, или какие-то отрезки времени работали на ВОГРЭСЕ. Дед Сережа, который умер за год до рождения Саша, был художником. Однажды (в «те самые» времена) он рисовал для заводского торжества огромный портрет Сталина маслом. Работа отняла месяц, и к юбилею Октябрьской Революции была почти закончена. А маленький Володя – второй брат отца, взял и изваюкал всю картину найденными остатками масляной краски. Родители вернулись домой, а Володя весь в краске, улыбается и говорит радостно: «А я Талина писала!» Портрет был безнадежно испорчен. И дед в спешном порядке перерисовал его просто гуашью, покрыв лаком. Он еще очень долго хранился где-то в красном уголке

заводоуправления.

До того, как пленные румыны выстроили желтые четырехэтажки в переулке Светлом, все жили на конюшне. Но об этом я подробно не расспрашивала. Знаю только по рассказам бабушки, что спали очень тесно, вповалку и поворачивались по команде.

Я же знала уже этот прекрасный приземистый четырехэтажный дом, с входом в бомбоубежище в одном из подвалов.

В первом подъезде на третьем этаже в двухкомнатной квартире на два хозяина жила моя бабуля Анна Васильевна – мамина мама. Женщина суровая, сильная. У нее был только один законный муж – первый, и только один ребенок, родившийся в браке – моя крестная. Остальные четверо детей были от разных отцов, с которыми бабуля не сочла возможным сочетаться законным браком. Двое детей умерли в младенчестве от тифа. О них в семье не вспоминали. Остались моя крестная – Мария Алексеевна, дядя Тимофей Тихонович, и мама – Татьяна Анатольевна, самая младшая. Невероятно, но бабушка пережила всех своих детей. И это именно она одобрила для меня такое имя, не позволив назвать «Анной» («Будут Нюркой дразнить!»)

У бабули была большая комната с балконом, дверь которого венчало под потолком полукруглое окошко. И в этой комнате она, пестуя одного за другим своих детей, внуков и правнуков, прожила всю свою жизнь. Когда я была малень-

кая, бабуля уже не работала, вышла на заслуженный отдых, и все ее выходные в течение учебного года принадлежали мне. Так было поделено: Саша бывал у бабушки Дуси, проживающей в третьем подъезде того же дома, а я у бабушки Ани.

Все, к чему прикасалась эта крупная женщина-неулыба, становилось прекрасным, ибо она была мастерицей ручного труда. Все постельное белье в ее доме было пошито на руках крепкими крошечными стежками. В ее трехстворчатом шкафу лежала стопочка выстиранных и отглаженных носовых платочков, самых разнообразных по расцветке, и предмет моего вожделения – черная пластмассовая заводская коробка, наполненная пуговицами. И то и другое выдавалось мне для игры, и как увлекательно было это занятие! Я любила бабулю, не смотря на ее угрюмый нрав, любила ее старые добрые большие руки, ее единственный черный сарафан «на выход» и хлопчатобумажные цветастые халаты на пуговицах спереди. И еще матерчатые тапки.

– Валь, – соседку спрашивает. – Ты помнишь, когда это у меня белые тапки были?

– Не помню, Ань. Белых точно не было!

– Вот гад червивый!.. Да зятек мой, орет вчера: «Видал я тебя в гробу в белых тапках!» Конечно, сбредал...

У бабушки были очень больные ноги, и последние десять лет она не спускалась даже к подъезду на лавочку – полужгать семечек, а только кружила по дому, все прибирала, готовила, стирала, или облокотившись на сложенную на столе тряпицу,

смотрела «Рабыню Изауру». Вот такой я ее помню.

– Ба! Научи меня ставить тесто на пироги. Они у тебя такие вкусные.

– Ладно. Только надо очень рано вставать.

– Разбуди, ба!

Утром просыпаюсь – пахнет пирогами.

– Бабуль, че ж ты меня не разбудила?

– Да жалко мне было тебя будить, дочка.

И так всегда.

Бабуля натирала тончайшую лапшу, и сушила ее, разложив на батарее и столе. Она пекла куличи на Пасху, посыпая их разноцветным пшеном, а глазурь взбивала вилкой. Бабуля варила постный фасолевый борщ – единственное, что я переняла из ее кулинарного искусства, и жарила тончайшие, почти прозрачные блинчики, толщину которых можно было измерить разве что микрометром. Она складывала их на стерильно чистое вафельное полотенце, а я таскала только что выпеченные блинчики прямо из-под рук. Бабуля за это ругала меня, но всегда последний блинчик оставляла на сковороде. Он подсыхал, и получалась «хрустяшка».

Бабушка была не очень грамотная, она училась только один класс в деревне Липовка, а потому писала, как говорила, и без знаков препинания. Но писала она много писем: своему брату дяде Ване, шахтеру из Прокопьевска, своей сестре бабе Шуре, той, что пережила блокаду в осажденном Ленинграде, своей дочери Марусе – моей дорогой крестной

матери.

Дядю Ваню я видела лишь однажды, а бабушка Шура приезжала на моей памяти пару раз и рассказывала, как блокаду съели даже кошек.

Каждый из них пережил войну. Бабуля стояла на углеподаче на ВОГРЭСЕ по 18-20 часов, кидая уголь на транспортер. А когда немцы подошли уже вплотную к мосту и на Чижовском плацдарме грохотали бои, моя бабушка Аня вместе со своей соседкой Полиной Ивановной, тогда молодой сотрудницей ВОХРа, сидели вдвоем с пулеметом из вооруженного арсенала, хранящегося на заводе еще с гражданской, в обзорной башне над нынешним гастрономом по улице Героев Стратосферы. Им не было тридцати, и Полина Ивановна тогда обожгла руки.

После войны, чтобы прокормить детей, бабуля работала в столовой и воровала очистки от свеклы и картошки, а это была подрассельная статья. Однажды я вызвалась чистить картошку, но сделала это очень неумело – срезала толстые шкурки. Бабуля молча собрала очистки и сварила их. А потом мы сели вместе и начистили с этих шкурок целую тарелочку картошки. «Вот, – сказала бабушка. Во время войны этим можно было целую семью накормить».

Бабушка Аня никогда ничего не выбрасывала. Из прокисшей каши готовила «кашники» и пышки, из оставшегося вермешелевого супа – оладьи. Когда такой оладушек откусишь, вермишелина из него тянется, как белый червяк. Все

шло у нее в дело. Голод, нехватка продуктов, переживаемые годами, научили экономии.

И все же, бабушка, которую знала я, вовсе не создавала уже впечатление голодающей – это была крупная, строгая женщина. Но оттого запомнилась каждая ее улыбка. Однажды я приехала к ней из Москвы. Я была уже сильно беременна, и со мной происходили те странные, незнакомые мне еще перемены, что происходят в теле зрелой женщины. Бабушка все мне объяснила, и видимо в этот момент поняв, что я уже повзрослела, она вдруг стала рассказывать мне всю свою непростую жизнь. Как убежала из дома после того, как ее едва не изнасиловал отчим. Как уехала с молодым мужем работать на строительстве КВЖД по комсомольской путевке, и как муж бросил ее там с новорожденной Марусей, у которой обнаружился туберкулез. Как помогали чужие люди, и как потом комсомольская организация купила ей билет на родину... Это был такое откровение, мы проговорили всю ночь, и это навсегда сделало нас еще ближе.

А еще у бабушки Ани имелась только одна пара серег в виде цыганских колечек, и они точно не были золотыми.

В третьем подъезде жила бабушка Дуся. Мы называли ее «бабушка маленькая», и все очень быстро ее перерастали. Евдокия Семеновна вырастила четверых сыновей, по-своему выдающихся и талантливых. Мой папа – первенец, дитя 1945 года, был художником, слесарем КИПиА 6-го разряда,

незаменимым на работе. Он играл на корнете и гитаре, а еще чинил часы. Часов этих в нашем доме перебивало великое множество. Напольные, с тяжелым маятником, в которые я спряталась и получила за это по затылку. Музыкальные с валиком, на котором обломался зубчик, и даже часы с деревянным механизмом, для которых папа вытачивал шестеренку, долго подбирая дерево и специальным образом обрабатывая его. Он умел гравировать, и делал для мамы и для меня разную бижутерию. Его называли «ювелир».

Папа был веселый. Он переделал песню «Ландыши» на житейско-производственный лад:

«Ты сегодня мне принёс
Электрический насос,
И давай меня накачивать...»

При этом он так потешно приплясывал, что мы покатывались со смеху. Он жарил мясо на вилке над газовой горелкой, и рычал, когда ему подавали мозговую косточку. Он собрал аппарат для производства «живой» и «мертвой» воды, и долгое время пил только «живую» воду. А еще папа пел Высоцкого, перестраивая «шестиструнку», произведенную в городе Бобров, на семиструнный лад.

Второй брат папы – дядя Володя в армии отморозил ноги. Он стал инвалидом, отказался от ампутации. Ноги гнили, и в доме бабушки всегда висели стиранные бинты. У этого человека были золотые руки – он резал по дереву, изготавливая для себя ажурные трости с фигурными массивными набалдаш-

никами, делал спининги для рыбной ловли, вычурные курительные трубки. Но всегда менял свои произведения искусства на бутылку водки. Дядя Володя был трубач из вогрэсовского оркестра, и его всегда звали на парады и на «жмура». От Общества Инвалидов он клеил картонные коробки и комплектовал автомобильные аптечки. А в конце августа каждый год играя во дворе, мы вдруг замирали. Старушки переставали лущить семечки, а мужики играть в домино. Дядя Володя в светлом пиджаке и наглаженной рубашке выходил на балкон четвертого этажа, и целый час весь наш вогрэсовский двор слушал, как он играет на своем «Сельмере». Это был день его рождения.

У дяди Славы, третьего сына бабушки, была на плече татуировка – чертик на месяце. Он одевался, как стилига, в джинсы и ярко-желтую нейлоновую рубашку «Олимпиада-80». У него были курчавые волосы и баки, как у Мика Бокса, а еще он был Бог в радиоэлектронике. Однажды дядя Слава позвал меня в гости, он жил вместе с бывшей женой и сыном Алешей в двух комнатах коммунальной квартиры дома номер 2 по той же улице Меркулова. В глубине его комнаты стоял аквариум, но в нем не было рыб. Он был наполнен стеклянными трубочками и лампочками. Дядюшка включил проигрыватель, и все это сооружение – светомузыка – заискрилось огнями. А когда Челентано запел “Soli”, преломление света достигло апогея: на задней стенке аквариума появилось еле различимое, скорее призрак, мираж, изображение

ние Девы Марии. Дядя Слава работал не на ВОГРЭСЕ, но тут же, рядом, на заводе «Синтез Каучук», сокращенно – СК.

Четвертый – Сережка, был слишком молод, чтобы мы называли его «дядей». Он единственный унаследовал от бабушки невысокий рост, и всегда упорно боролся с этим: занимался специальной гимнастикой долгое время. А мы, противные дети, дразнили его «Пенек». Отслужив в армии он, вместе со своим приятелем Игорем, много ездил по стране, устраиваясь разнорабочим в геологические экспедиции, а после увлекательно рассказывал. Потом осел, занялся фотографией, мотоциклами и тоже пошел работать на ВОГРЭС.

Помимо четырех сыновей у бабули было еще двое внуков мужского пола, и когда нелегкая заносила меня к ней в гости, она звала меня так: «Володь... Саш... Алеш... Тьфу, ты! Ирочка! Сыночек, поди сюда!»

У бабули в доме пахло стерильными бинтами, «Корвалолом» и солянкой. Пододеяльники были цветистые, а перед сном она читала только сказки. Она никогда не ругалась, если мы убегали плавить из решеток аккумуляторов свинцовые грузики в воронке кирпича на костре. Или гоняли допоздна мяч у здания ОКБА. Или если мы пропадали на целый день – делали тайники возле заводской узкоколейки. Она не ругалась, когда мы подожгли селитру на балконе третьего этажа, Она была очень терпеливой, мужественной. Ба-

бушка маленькая, благодаря которой я познакомилась с заводской столовой (она была общая для ВОГРЭСА, СК и ОК-БА, и питались там по талонам) и «Кулинарией» – бабуля всегда давала денежку на коржик и лимонад.

Бабуля не понимала, что такое пенсия. Работала ночным сторожем в СМУ-22, у нее даже там было ружье! Она всегда мчалась по первому зову родной сестры Анны Семеновны – одинокой болезненной женщины – через весь город, отстаивать в очереди за дешевыми «потрошками».

А потом еще взяла дачу на станции Синицыно, и на это у нее тоже хватало сил!

Она успела похоронить троих своих сыновей и даже одного внука, и я знаю, что с рыдающим сердцем думала светло о каждом: «Отмучился, сынок». Всегда улыбающаяся, деятельная, с палочкой-выручалочкой в руке – она ведь не дотягивалась, чтобы закрыть форточку. Повернется от плиты, улыбается – значит, рассольник будет, или тушеные кабачки на обед.

«49-76-19» – набираю номер.

«Бабуль, это я!»

«А-а, Ирочка... сыночек!»

Перелёшино.

По над дорогой растет трава. Тонкая и мягкая, она стелется густо по земле, и я вью из нее гнезда. Не для того, чтобы посадить в них пупсиков или птенчиков. Я устилаю дно гнездышка одуванчиками и листочками, и жду: вдруг кто-то поселится здесь? Божья коровка заползет – я ликую! – хоть ненадолго кто-то пожил в моем травяном домике!

Улица Советская совершенно покатаая, асфальт выгнут дугой. Она не слишком оживленная в смысле дорожного движения: во времена моего детства мало у кого были машины, в основном мотоциклы, велосипеды, да и те – не для баловства, а для перевозки грузов. Здесь, в рабочем поселке при Перелешинском сахарном заводе, прошло мое детство. Поэтому мои воспоминания о городе относятся к школьному периоду: с шести месяцев и до шести лет я воспитывалась в деревне, у моей крестной матери Марии Алексеевны и ее мужа Семена Павловича. И все, что есть во мне доброго и бескорыстного, заложено в меня этими прекрасными людьми, и всем, что их окружало.

Каменный дом, вернее полдома, по улице Советской в разное время был выкрашен в разные цвета, но чаще всего я помню его небесно-голубым с белым. Окна его выходили на три стороны, и так же с трех сторон окружала его земля –

плодовый сад, огород и цветник. Сколько раз я подходила вдоль забора к знакомой калитке, выкрашенной то в синий, то в зеленый. Участок то скрывался за кустарником, а то представлял вдруг, как на ладони, если кустарник вырубил. Сразу за калиткой надо было почистить ноги о металлическую шуковину, торчащую из земли, потому что дорожка к дому всегда содержалась в образцовом порядке. Недаром наградная табличка «Дом высокой культуры» висела здесь на уголке здания много-много лет.

Стукнешь калиткой – и взвился до небес, захлебываясь лаем, еще невидимый пока Барсик, Марсик или Мишка (в хронологическом порядке). И выйдет крестная в простеньком платье и галошах, одетых на шерстяные носки, заулыбается – ждала! Она всегда ждала нас – сына Колю, своих племянниц Свету и меня, Сашу, хоть он приезжал редко, потом внучек. Мы были смыслом ее жизни, она – чудо-женщина, беззаветно посвятившая себя воспитанию детей, и неважно, чьи это были дети.

Доброта и бескорыстие сквозили во всех ее делах. Яблони дали богатый урожай – ни одна соседка не уходила с пустой сумкой. К свадьбе, к празднику, к школе она охапками срезала и раздавала свои цветы: астры, георгины, пионы, гладиолусы, розы.

Здесь, подле этой женщины, я научилась ходить и говорить, читать и писать, и наверное, я осталась бы здесь учиться в сельской школе, если бы мои родители не были иного

мнения на этот счет. И все равно, каждые школьные каникулы автобус вез меня два с половиной часа по асфальтированной дороге, каждый изгиб которой до сих пор стоит перед глазами, в Перелёшино. Сельская жизнь исцеляла душу. Я с упоением вспоминаю то, что было так важно для меня: покой и уединение. Забраться на дерево, повыше, подальше от всех, и навдумывать себе целый сказочный мир, глядя, как лучи солнца упорно пробивают броню густой листвы.

Однажды я узнала, что божьи коровки являются погонщиками для тли. Тля – вроде коров, за которыми приглядывают, направляют, как колхозное стадо, эти красные в точечку, важные жуки. Я долго наблюдала за насекомыми на яблоневых побегах, но потом дядя опрыскал яблони хлорофосом: тле не было места в плодовом саду, как нет места моим фантазиям в реальном мире. Семен Павлович, которого я называла «папа Сеня», занимался селекцией, и вывел свой сорт яблок, вкус которых больше нигде не найти.

Я о многом узнала именно здесь. Например, о смерти: умер дядя Валя (это было так странно: дядя с женским именем!), а еще малышка поперхнулась молоком – не откачали – в доме, где папа Сеня крыл крышу. Похороны оставили неизгладимое впечатление приглушенных голосов, запаха свечей и заплаканных лиц. И платки, платки черные!

Мы гуляли на свадьбах. Колюшкину (сына крестной) свадьбу я помню плохо, слишком мала была. Но ухитрилась с утра «побриться» опасной бритвой, вторя дядюшке, и конеч-

но располосовала щеку.

А вот чужие свадьбы помню хорошо – их играли три дня. В первый невеста носила белое свадебное платье, а во второй и третий – нарядное, шитое люрексом, другого цвета. Для застолья натягивали «шатры» и длинные накрывали столы. Готовили сообща – все шло в дело. Ну, и гуляли – ох! Меня переодевали цыганкой, я пела частушки под гармонь. До выкупа жениху норовили подсунуть фальшивую невесту – какой-нибудь толстой тетеньке вырезали кривые зубы из картофеля, одевали в фату, и она встречала молодого «очаровательной» улыбкой. Свадьбы обычно играли в августе или по осени.

Тогда же мы с папой Сеней ездили на мотоцикле воровать навоз на колхозном поле у скотоводческой фермы. Это место внушало мне почти мистический ужас – такой длинный был навозный стог, будто могильный холм великана Святогора. И всегда там гнездились вороны. Шу! Вспорхнут, и полетели на закат с траурным карканием.

А зимы! Батюшки мои, какие у нас в Черноземье были зимы! Снегу наметет так, что я, малая, иду по расчищенной Семеном Павловичем дорожке, а снежные стены выше меня ростом встают по бокам. Барсик, а потом и Марсик, катали меня на санках, а я – Господи, какая смешная была в красном пальтишке с аппликацией-яблочком на кармашке, капюшон с меховой опушкой всегда одет поверх кроличьей круглой шапки на резинке. Обнимаю на фотографии рыжую собаку,

а она с меня ростом!

У хозяйственного магазина заливали горку. Папа Сеня сварил на заводе большие саночки, чтобы кататься вместе со мной – хрупкий воз, как бы большие ребята не зашибли!

В сумерках завоет-залает пёс, и понеслось по деревне цепной реакцией. А вот уже и месяц вышел ясный, и звезды все-все видны так близко, что кажется: протяни руку, и дотронешься. В кухне тогда еще работала печь «голландка», в трубе ее завывала, металась буря. Крестная говорила с горечью: «Зови в поддувало: мать-мать, собакам тебя отдать, приходи за мной, забери меня!» Я надувала губы и молчала, как рыба, упорно называя «мамой» крестную.

Ребенком я была тем еще! Нафантазирую невесть каких страхов и создаю сразу кучу проблем.

Какой-то период мама Маруся работала ревизором. Порою, брала меня с собой. В «Промтоварный магазин» – мой детский рай. Там на полках рулонами лежали штуки ткани, а в витринах различные рюши, пуговицы и ажурные воротнички. Я получала конфеты «Гусиные лапки», «Петушины гребешки», сантиметр для игры, и кто-то из продавщиц обучал меня отмерять ткани. Но взять ребенка с собой можно было не всегда, и крестная, укладывая меня дома спать днем, мчалась в «Дежурный» или «большой», или Хозтовары («скобяной»).

Как-то раз я проснулась, одна-одинешенька в доме. Было мне лет шесть, не меньше, а может и больше. И что там мне

привиделось со сна? – а только подняла я ор на всю деревню через узкую форточку в зале: «Караул! – кричу. – Спасите! Помогите, погибаю!!»

Проходящие соседи попытались меня через форточку вытащить, побежали за крестной. И вообще, думали, что пожар или утечка газа. Ну, шутка ли? Ребенок бьется в истерике, а дверь заперта снаружи. Крестная в тот день делала ревизию в «Промтоварном», и купила мне заодно дефицитное белое шелковое платье с воланами. Ох, и отходила она меня эти платьем по голым ногам, поставила в угол. Но самым страшным наказанием прогремело: «Не зови меня «мамой»! Я тебе не «мама», а тетя Маша!» Горю моему не было границ. Но просить прощения я никогда не умела, а потому просидев несколько часов носом в угол, снова захлюпала:

– Не могу тебя называть тетей!

– Почему?

– У меня язык не поворачивается!..

В деревне у меня были настоящие игрушки, две куклы – София и Ольга, и еще кукла Алеша и белый медведь с набитой соломой жесткой башкой. А потом появился мой собственный Чебурашка! У куклы Софии (София Ротару) была фарфоровая голова и руки. Темная коса и красивый шелковый красный сарафан, вышитый жемчугом на передней вставке. Куклу эту старинную я получала для игры редко и относилась к ней очень бережно. И все равно со временем

фарфоровая головка ее треснула под волосами, уж и не помню, я ли была тому причиной. Кукла Оля с резиновой головой, руками, ногами и пластмассовым туловищем, была кудрявая, в белых ползунках на кнопках и синем трикотажном платьице. Кто-то из предшественников намалевал на руках и щеке куклы ручкой, и чернила въелись навсегда. Но я относилась к своим игрушкам очень трепетно. Была еще кукла Алеша в красном клетчатом комбинезоне и такой же беретке над огненно-рыжими кудрями. Про нее мы с крестной пели песню «Стоит под горою Алеша...»

Тема войны так или иначе присутствовала в доме, поскольку папа Сеня, 1927 года рождения, воевал в финскую матросом на крейсере «Калинин», а в Великую Отечественную дошел до Берлина. У него было много орденов, медалей и орденских планок. Хранились они в шкатулочке, и мне давали ими поиграть. Как-то, будучи подростком, Коля обменял часть отцовских наград на марки, и не все из них удалось восстановить. И все же их оставалось много. Вспоминать о войне папа Сеня не любил. Он только рассказывал, как их в Польше учили танцевать, и начинал танцевать с нами «Под испанец», это было очень весело. В рамке хранилась наградная грамота матросу за подписью Калинина. Даже и не знаю, обычное ли это было дело. С годами грамоту убрали со стены, осталась только рамка с крейсером внизу, собственноручно Семеном Павловичем отлитая, поскольку работать на сахзаводе он начал как раз в литейном цеху.

В «Литейку» папа Сеня меня брал с собой – мне показывали «опоки», и позволяли прыгать на кучу песка – так я сеюе один раз нос расквасила. Обедали литейщики прямо там, в цеху, на газете. И я помню «Кильку в томатном соусе» – после того, как напрыгаешься, упадешь и нареवेशься, все кажется божественно вкусным!

А завод был такой огромный для меня маленькой, и столько впечатлений! На углу водонапорная башня, деревянная, напоминающая старинный замок. Дальше пролом в кирпичной стене и производственные цеха, здесь же была и «литейка». А потом, если двигаться по улице Рабочей – центральная проходная Перелешинского сахарного завода. Туда меня водили уже школьницей, и все-все показали. Начиная с цеха отжима, где в огромной центрифуге перетиралась сахарная свекла, далее цех очистки: вот в этом барабане крутится желтый сахар, а в следующем уже ослепительно белый, как снег! Тут мне зачерпнули сладкого «снега» в оловянную кружку. И посмотрев, как делают рафинад, я возвращалась домой с кулечком сверкающей сладости и полным карманом фантиков от сахара «К чаю», который подают в самолетах и ресторанах.

А малышкой я думала, что сахар растет у нас на яблоне. Как-то вечером Семен Павлович, вернувшись с работы, сказал: «Марусь! Пора, наверное, сахар собирать...» Крестная с ним вполне согласилась. Мне дали корзиночку, ножницы

и мы пошли во двор, где в сумерках я разглядела на яблоневых ветвях подвешенные на нитках длинные бруски колото-го рафинада и вагонно-ресторанные пачки с нарисованной на них чайной чашечкой. Меня подсаживали, и я срезала созревший сахар в корзину. И долго, очень долго была уверена, что сахар растет на деревьях. Уверенность моя странным образом подкреплялась услышанным где-то выражением «рубить сахарный тростник», я так и представляла, что делаю что-то в этом роде.

При обработке сахарной свеклы оставались отходы (жом). Они поступали по трубе в жомосушку. Увидев этот цех с огромным барабаном, в котором сушилось, лениво переворачиваясь, сырье, я так впечатлилась, что подготовила в школе подробный доклад с чертежами! В жомосушке я проводила много времени, поскольку Семен Павлович тогда уже был завскладом склада сухого жома. В жомосушке было очень чисто – мы переобувались в маленькой конторке на входе. Потолки высоченные, а на верхнем ярусе поигрывали в домино энергетики. Из цеха сушки жом поступал по деревянной кишке в соседнее здание – склад, и там сыпался из огромного раструба под потолком. Для тех, кто не знаком с сельским хозяйством, скажу, что сухой свекольный жом – это зимний корм для домашней скотины, его запаривают в кашу. Так что местечко у папы Сени было «блатное». Он и крестная вели важные тетради с аккуратными подсчетами,

а папа Сеня время от времени рисовал на полях красивые цветочки-васильки.

Иногда по заводской узкоколейке, идущей параллельно зданию склада, подгоняли вагоны под крупную отгрузку. Их надо было сперва почистить, потому что порожняк приходил абы какой, иногда со стеклянными шариками, иногда с проволокой или битым стеклом. Для уборки вагон открывали сбоку, а почистив, закрывали наглухо и подводили отгрузочный раструб к люку в крыше. Этот момент меня очень пугал. Я представляла себя забытой в наглухо запечатанном вагоне, в который насыпается сухого пыльного жома 12-18 тонн – вот ужас!

Вообще-то с детства меня преследовали странные мистические страхи, вылившиеся в лунатизм, который, впрочем, прошел с возрастом. Однажды, я тогда еще спала в детской деревянной кроватке (почти все в таких спали, я полагаю), мне приснились ангелы и демоны. Вот уж не помню сна, но истерику свою среди ночи помню. Крестная после этого повела меня к «бабке», наверное, в каждой деревне есть такая знахарка. «Бабка» жила на Петровке, это еще до въезда в рабочий поселок, в угловой беленой хате напротив Продмага. Помню, сидели мы у печи в полумраке, и «бабка» капала воск в разогретый на сковороде мед, а потом спрашивала, что я вижу. Вердикт был странноватый: знахарка сочла, что мои страхи ногами растут из телевизора, который я в городе смотрю. Это не совсем точный диагноз, поскольку теле-

визор в нашем доме случался крайне редко, и то брался напрокат. Целительница содрала с мамы Маруси н-ную сумму и вручила пучок травы, которую следовало повесить над моей кроватью. Все равно я с этих пор спала между «мамой» и «папой» очень долгое время, и была абсолютно счастлива, чувствуя себя под надежной защитой. Папа Сеня рассказывал мне сказки про Синдбада-морехода, а мама Маруся научила меня читать «молитву» (в последствии оказавшуюся «заговором»), которой ее научила бабушка.

Иногда в гости наезжали Коля с женой Галей. Всегда неожиданно в сумерках подкатывал его драндулет «Иж-Юпитер». Всех охватывало радостное волнение. Крестная жарила огромную сковороду картошки, папа Сеня шел загонять мотоцикл в гараж, потеснив свой старенький «Восход-2». Коля говорил: «Здорово, мать!» Воцарялся за столом и уплетал картошку, накатив перед этим стопку свойского самогона. Галя всегда вела себя скромно, называла свекровь и свекра на «Вы»: «Вы, мама» или «Вы, папа». После позднего ужина садились забивать в «козла» пара на пару, хвалили «kozyрей». Помню, что «пики» крестная называла «карлы». Где-нибудь на третьем кону я засыпала, и кто-то уносил меня за шторы в красных ромбиках в бывшую Колину комнату.

По утрам Коля долго спал. Его жена убегала к своим маме и бабушке – они жили домов через десять по той же улице Советской. А я ждала, когда проснется мой великолеп-

ный, мой взрослый двоюродный брат. Видя, что он ворочается, я седлала его спину, а он сонно бурчал: «Пощипи!» И я начинала щипать дубленую жесткую шкуру на его спине – делать массаж. Потом Коля говорил: «Почеши!» – и можно было драть его спину хоть массажной щеткой. Я делала. «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, ехал поезд запоздалый...» Это самый супер-массаж, который я помню. У Коли на спине был шрам от пули, такой же точно (карма?), как у его матери от осколка времен ВОВ. Эту память в мирные дни он получил на службе в погранвойсках на китайской границе.

Если было время, он сажал меня в люльку «Ижа», и мы мчались на речку, распевая во весь голос: «Вот новый поворот!..» Коля лихачил и «задирали» люльку. А я визжала от страха, смешанного с восторгом.

Сама я ездить ни на чем не научилась, даже на велике не умела поворачивать. Вместо этого ставила ногу на землю и «заносила» велик, описывая дугу вокруг своего корпуса. Выглядело эффектно, скрывая мое неумение. В неспособности освоить движущие средства тоже прослеживалось что-то «кармическое». В детстве Коля катал нашу двоюродную сестру Свету на паписенином велосипеде «Украина», и ее нога попала между спиц. Результатом был перелом. Спустя десяток лет та же трагедия ждала меня, только за рулем была Света! Двойной открытый перелом на правой ноге, шутка ли! – у меня шрамы навсегда остались. А вот боли я не помню. Помню, деревенский хирург дал мне конфету «Мишка

косолапый», предопределив мое последующее косолапие из-за этого перелома. Пришлось корректировать походку, только без ужасной ортопедической обуви – одним усилием воли! На трехколесном велике в пластмассовым белым сидением я ездилa, а пришла пора двухколесного – пардон! Это я уже 16-ти летним подростком «Украину» оседлала. И то без права поворачивать по-человечески.

Садово-огородное хозяйство меня совершенно не увлекало. Крестная говорила, что я – ленивая. «Вот мама Таня твоя была работящей девочкой! Приду с работы – она уже полы перемыла, все тряпочки вытряхнула, яблоки, что попадали, собрала!» Я, внемля голосу разума, пошла смородину собирать. Всю под чистую собрала: и зеленую, и едва зарозовевшую, и спелую. Крестная руками всплеснула: «Баран бестолковый! Куда это годится теперь? Только на компот...»

Не со зла это я, а по незнанию – не вникала в земледелие, хоть и росла в деревне, а только на яблоне сидела и созерцала мечтательно.

В этой благодатном уголке палку в чернозем воткни – зацветет. А руки у Семена Павловича и Марии Алексеевны были золотые. У него «лунный» календарь. У нее «народный», написанный в общей тетради шариковой ручкой. Что за чтиво, не хуже И. С. Шмелева: народные приметы вперемешку с церковными праздниками. К примеру: «Илья Пророк в воду поссал». Запомнила, потому что грубо контрастировало со

всем остальным. И означало это, что после дождя на Ильин День купаться нельзя больше.

Из этого самого календаря я узнала про Ивана Купалу. В совокупности с «Вечерами на хуторе близ Диканьки» повествование сие подвигло меня на отчаянный шаг. Как-то мы собирали грибы в лесопосадке напротив заброшенного кирпичного завода. Там росло великое множество папоротников. И вот в ночь на 7 июля я удрала из дома, ждать когда папоротник зацветет. Полночи просидела в холодных зарослях, мокрых от ночной росы. Сначала мечтала, как распорядюсь кладом, который можно непременно найти при помощи цветка папоротника. Потом носом захлюпала, замерзла и спать захотелось. Так что когда мотоцикл затарахтел – сама в свет фар вышла сдаваться. Это, конечно, папа Сеня был – и как они, взрослые, все узнают, обо всем догадываются? Была еще одна попытка клад искать по той же технологии. В профилактории на станции Дубовка, где мы с мамой и Сашей отдыхали однажды. Тоже ничего не вышло, хоть мне и брат помогал.

Все равно я старалась подсобить в хозяйстве, хоть и была ленивая. Собирала вишни, например. Они росли по над забором, осыпались все, и меня ставили на лестницу, обирать ягоды в ведро. Там же у разделительного штакетника бурно рос ревень. Пирог из него не пекли, зато я грызла его сочные побеги – они были кислые.

Весной крестная варила щавелевый и крапивный суп – все

это было мне полезно, поскольку я была болезненная девочка, тощая, как монтировка, не смотря на все усилия меня откормить. За каникулы откармливалась только моя рожица. Выглядело это гротескно: круглолицая голова на тощем тельце.

Весной распахивали выделенный участок под картошку, и сажали оную в определенные дни. Участки эти бывали в разных местах (это для севооборота), но всегда за речкой Горячкой. Иногда мы брали лошадь, иногда тракториста просили, но позднее папа Сеня смастерил соху, и сам впрягнулся в нее, а я правила. Сажали в основном мелкую, «семенную» картошку, но однажды, помню, втыкали «глазки», выживая их из консервной банки, в которой раньше сгущенка была. Наверное, год был неурожайный.

Походы на огород с папой Сеней развлекали меня чрезвычайно. Я, конечно, не любила колорадского жука собирать, зато любила купаться на Горячке. Имя свое речка получила от сточных вод, что сливались из огромных труб, проложенных от самого завода.

Маленький мостик и насыпь отделяли Горячку от Вонючки – этот второй водоем был сливом, и запах там стоял соответственный названию. Однако, на Вонючке удили рыбу, купались, и в самые худшие свои времена она была чище Воронежского Водохранилища. За мостиком густо росли кусты сирени, калины и боярышника – высоченные. Пройдешь

этот «лес чудес», а там и до поселка Петровского рукой подать.

На Петровке зимой удили рыбу. Крестная и ее муж были заядлыми рыболовами. У них имелась вся оснастка для зимней и летней рыбной ловли. Сначала папа Сеня буром делал лунки. Потом мы усаживались на складные стульчики или ящик, и маленькие удочки для зимней рыбалки замирали над прорубью. Науживали за пол дня с двадцать штук окушков и жарили их потом, обваляв в муке. Крестная называла блюдо «жуй-плюй». Васька – козырной кот, который был найден моим папой на стройке, и через пару лет жития на 8-м этаже в нашем «скворечнике» перевезен в деревню, очень окушков этих уважал. Васька – городской пижон, гонял не только местных котов, но и Барсика выжил из его будки. А ведь не скажешь! Как в дом придет – милая киса, отирается о кресную. Она поставит перед ним руки колечком, скажет: «Оп-ки!» И он «опки» делает!

Помимо летних самых длинных каникул, от которых я уставала, и мне под конец очень хотелось домой, самыми сказочными были зимние. Сад и огород глухо укрыты снегом. Походов только в сарай – скотину кормить. Всяко тут перебивало: и кролики, и куры, и даже один раз бык Мишка (в честь Горбачева назван!). И всегда-всегда были свиньи. Машка и Гришка, или Машка и Васька. А однажды – Машка, Васька и Иностранец. В этом трио Машка была розовая,

Васька с одним черным бочком, а Иностранец черный совсем. Свиньи откармливались только на мясо, и резали их чаще под новый год. И вот эта возня со свиньей мне запомнилась навсегда, поскольку повторялась с вариациями из года в год.

Опускаю кровавые сцены, но после того, как поросенка зарезали, всех участников звали «на печенку». Отдельно жарилась сковорода картошки, отдельно сковорода печени, смешанной с почерёвкой (часть брюшины). Подавали запотевший графин. Но это все для мужчин, тех, что помогали резать, держали, палили паяльной лампой, разделявали на части. Теперь они садились за стол. А для женщин как раз начиналась работа. По куску хорошего парного мяса завернуть помощникам. Что-то в морозилку. Что-то засолить – сало густо засыпали в 10 литровых кастрюлях крупной каменной солью, а потом складывали в ящики и относили на погреб. Если была охота, начиналась возня с кишками: выпотрошить, несколько раз промыть. Кишки можно было просто пожарить с луком, а можно было не лениться, набить колбасы подготовленным душистым фаршем, и на рассвете везти на коптильню.

Вот одну такую колготную ночь я хорошо помню. Мы начинали кишки фаршем. Вдруг вырубился свет. Крестная принесла свечи и керосиновую лампу зажгла. Женщины вели неторопливый разговор, а за окном завывала вьюга. Ветер клонил ветви деревьев, и они скребли по стеклу и по стенам.

Казалось даже, что каменный дом содрогается.

«Что это?» – спросила я у крестной.

«Это бык мирской трётся», – коротко ответила она.

И долго мне представлялся потом этот самый бык – огромный, сотканный весь из ночного черного неба, в сияющих звездах.

И самым прекрасным, самым запоминающимся праздником был новый год у крестной! Всегда выходила смешная заминка с елкой (в наших краях их заменяли сосны). Семен Павлович тянул до последнего так, что мама Маруся начала уже на него ругаться. Он отвечал всегда добродушно: «Ну, не гуди, моя Мурочка!» И в сумерках 30 декабря втыкал пышную сосенку в сугроб у крылечка. 31 с утра «ёлку» ставили в ведро с влажным песком, укутывали ведро белой тряпицей или бумагой (на бумаге мне разрешалось нарисовать новогодние картинки). И вот оно – чудесное! Начинался обряд наряжания лесной красавицы. Из погреба в кухне доставали ящики с игрушками и гирляндами. Украшения эти бережно собирались годами. Был тут Султан в остроконечных башмаках с надписью «1952» на груди, были деды морозы, снегурочки, зайцы стеклянные, разноцветные, на прищепках. Был космонавт «1962», набор чайников и избушек, посыпанных искрящимся снегом. И шары, и стеклянные бусы с бисером – красным и голубым. Елку закутывали в «дождик» и мишуру, гирлянду такую старую, что папа Сеня каж-

дый год перебирал лампочки, выращенные разноцветным «цапоном». Мы привязывали нитки к конфетам (а за период зимних каникул на елке оставались только пустые фантики). Макушку много лет венчала красная пластмассовая звезда. Но потом появилась «пика» – дань моде. Мне звезда больше нравилась. Из города я всегда старалась привезти серпантин, конфетти и какую-нибудь мишуру. И все же старые игрушки я любила больше – просто благоговела перед ними.

Елка у нас получалась роскошная, как в Кремле. И не менее обильный накрывали стол. Крестная делала заливное в прозрачной посуде со всякими украшениями из вареной моркови, яичка, петрушки и горошка. У нее была прекрасная советская книга «Кулинария», в которой большое внимание уделялось изысканной сервировке стола и декоративному украшению блюд. Поэтому заливное ставилось в центр, рядом блюдо с мятой картошкой (слово «пюре» я в детстве относила только к прилагательному «яблочное»), вокруг которой ободом выкладывались котлеты. Иногда крестная делала домашние пельмени, иногда варила курицу. Но это были исключения из правила. Подавались домашние разносолы. Я любила малосольные помидоры – очень их кресная вкусно делала, моченые яблоки и томатный сок. Все, что готовила эта женщина, было божественно вкусно! Вишнево-яблочный компот появлялся на зимнем столе, свежая антоновка и груши, бережно собранные осенью и пролежавшие в ящике с опилками до нового года. А еще мои любимые

клетчатые печенья в форме сердечек. Они делались мамой Марусей на специальной двойной сковородке, вроде вафельницы, по супервкусному рецепту.

О существовании Деда Мороза я никогда в детстве не задумывалась, хоть и стоял он под елкой, ватный, с лицом из папье-маше, блистая морозным одеянием. Все мои подарки и гостинцы были всегда «от зайчика». И не пыталась я даже представить, где этот ушастый обитает, и на каком складе отоваривается. В плане подарков я всегда была практичным реалистом – от зайчика, так от зайчика, главное, что они есть.

По телевизору шел «голубой огонек», я никогда не досиживала до боя курантов, и очень сердилась, если меня будили, заставляя съесть какой-нибудь новогодний пельмень.

А утром мой сон нарушали приглушенные голоса в полутьме (свет надо было экономить): крестная и папа Сеня вставали засветло, кормить поросят, чистить снег, а там уже и рабочий день начинался. Я лежала, не открывая глаз, и слушала, как они вполголоса обсуждают домашние дела – это были минуты абсолютного покоя и счастья для меня. Я до сих пор люблю подниматься рано, есть в этом что-то воодушевляющее на подвиг повседневного труда.

Гудел заводской гудок: семь часов утра. Мы провожали папу Сеню, человека у которого было двое брюк: «поросычьи» – для хозяйства и повседневные, и две шляпы: белая летняя и серая фетровая. Чудесного человека, который хо-

дил стремительной, немного вразвалочку, походкой, отмахивая рукой. И как с ним здоровались встречные, еще издали протягивая руку: «Добрый день!» или «Моё почтение!», а иногда «Как сам?» Человека, сидя перед, которым я проездила на бензобаке «Восхода-2» и на раме велосипеда «Украина» все свое детство, и даже ездя на велосипеде, с прищепкой на брючине, он показывал рукой знак поворота.

Мы провожали его, и снова ложились спать. Но это был обманный маневр, и когда я окончательно просыпалась, мама Маруся уже накрывала на стол к завтраку.

Она заполняла литровый фарфоровый заварной чайник разнотравьем. Чашки тоже были огромные, из того же чайного сервиза. К чаю подавались: сахар-рафинад, бутерброды с сантиметровой толщины куском сливочного деревенского масла, конфеты, вареные яйца, котлеты холодные, домашнее сало. И пили мы чай примерно час за разговорами, поедая все это многообразие, а потом крестная заботливо спрашивала: «Может, борщичку?»

С моим истерическим расстройством пищеварения боролась по мере сил. Однажды Мама Маруся наварила молочной рисовой каши – это я ее упросила. Наложила целую глиняную миску (грузинские, коричневые такие с желтой спиралью на дне), и насахарила. Крестная строго-настрого приказала съесть все. Но это было мне, увы, не по силам. Ибо «глаза несыты». Так что, когда стукнула калитка, и крестная вышла поговорить с Татьяной Петровной, учительницей на

пенсии, я остатки каши вывалила в кастрюлю. Мама Маруся не поверила, что я съела все, и полезла ложкой пробовать. У края каша была несладкая, а посередине – о, доказательство вины! – посахаренная. Пока я стояла в углу, крестная терпеливо объясняла мне, что каша прокиснет, если вот так выливать в нее остатки-сладки.

Потом я стояла в углу за щенка, которого притащила и подбросила на огород. Ни за что не признавалась, что это моих рук дело: приболудился и все тут! Но вообще наказывали меня нечасто. Я была тщедушным ребенком, которого жалко наказывать.

Зато в этом щуплом угловатом теле жил сильный голос! Я пела везде, где только можно: на свадьбах, в гостях, на автобусной станции, на брошенной деревянной эстраде в парке у клуба. Забиралась на яблоню и там пела, а проходящие соседи спрашивали: «Что там за соловушка поет?» А «соловушка» сочиняла свои первые песни, и ввиду незнания нотной грамоты, записывала мелодию так»

«На-на-на на на

На-на-на на на-на на-на

На...

На на-на на-на

На...»

Утром или через неделю мотив забывался под наплывом детских впечатлений, но разочарование это так никоим об-

разом и не подвигло меня к изучению нотной грамоты.

Вместо музыки я переключилась на литературу. Вернее, «сочинительство»: я рисовала обширный комикс «Приключения изумрудного черепашонка», причем на картинках «изумрудный» панцирь главного героя был рубиново-красным. Черепашонок набрел в лесу на дерево с дуплом. Это было не простое дупло, а вход в сказочную страну маленьких забавных существ. Истории такого рода я сочиняла потом на ходу и рассказывала своим сверстникам, брату и младшим подружкам в городе, иногда выдавая за городские легенды то, что выдумала сама. А вот комиксы рисовала редко, да и не так уж хорошо.

Я училась лепить. Полезный навык, приобретенный в подготовительной группе детского сада. Но пластилин таял на солнце, на батарее, нельзя было сохранить свои творения в первозданном виде. Как-то мне пришло в голову расплавить пластилин, проверить – не станет ли он после застывания более прочным, по примеру стекла. Опыт оказался неудачным. Плавил я исходный материал в металлической пробке от лимонада, которую держала плоскогубцами. Пластилин стал жидким. Но горячую пробку я схватила слишком рано, и на подушечке указательного пальца навсегда остался шрам от ожога.

Все это мелочи! Я обдирала колени, ссаживала руки, разбивала нос. Игра в «Робин Гуда» с самодельными стрелами и самым настоящим охотничьим ножом, украденным с кухни,

была чревата всякими травмами, но я была Робин Гуд, который жил на дереве, а это налагало некоторые обязательства!

Мне было годика два, когда двоюродный брат Коля вернулся из армии и акварельными красками раскрасил нас с крестной в индейцев. Игра мне очень нравилась, но когда я увидела себя в зеркале, то заревела белугой, так испугалась увиденного! НО таков был мой мир – мир впечатлительного ребенка, затаив дыхание созерцающего закат на реке, выдру, пунктиром плывущую вдоль берега, зайца-русака, неожиданно выпрыгнувшего из зарослей овса или кладбище с ровными рядами могил, украшенных железными и бумажными венками. Ребенка, плачущего слезами росы.

Из социальных взаимодействий с внешним миром мне больше всего нравился поход с мамой Марусей в КБО. В этом здании располагалась парикмахерская – наша основная цель, портняжное ателье, ремонт телевизоров, а так же бюро ритуальных услуг. Двери во все помещения были открыты, и в проемах можно было увидеть жестяной блеск траурного венка, опоясанного лентой с надписью: «Дорогому, безвременно ушедшему...», почуять запах канифоли или услышать стрекот швейных машин. В ателье меня всегда одаривали пакетом клочков, самых разнообразных, даже с блестящим люрексом, из которых я неумело «шила» одежды пупсикам и куклам.

А дальше, в глубине, была парикмахерская. Крестная кра-

сила волосы добытым по великому благу «Лонда Колором» цвета «черный тюльпан» и делала химическую завивку. Все это занимало несколько часов, иногда полдня. Меня за это время успевали постричь под «горшок» или «сессун» – я ненавидела эти дурацкие стрижки, но модную мне никто сделать не хотел. Потом в ожидании крестной я совала нос во все конторы КБО, получала гостинцы и подарки, заходила в отдельную комнату с фенами, где «сушилась» покрасневшая мама Маруся – она плохо переносила горячую долгую сушку. Крестная давала денежку, и я мчалась в столовую за пирожками. Для этого надо было пересечь «круг» – это парадная площадь, вроде поселкового перекрестка. В центре «круга» предполагался фонтан, но он никогда не работал. Здесь за выбеленным бетонным ограждением почти до моих колен, выложенным по кругу, стоял киоск «Союзпечать». В нем я покупала марки целыми блоками: олимпиада, космос, история паровозостроения, оружие гражданской и Великой Отечественной войны. С «круга» был выход к управлению поселкового совета, к дороге, ведущей в клуб, к центральной заводской проходной и автобусной станции, и наконец, к столовой и «Большому» магазину. Зимой на «кругу» устраивали празднества с танцами и конкурсами: парни лазили по гладкому скользкому столбу за женскими дефицитными сапогами для своих любимых. А в столовой продавали пирожки с повидлом и лимонад, редко – мороженое, хлебные «общепитовские» котлеты – и все это было необыкновенно

вкусно!

Магазин «Большой» – это был гастроном общего профиля. В зависимости от экономической обстановки в стране, там то было шаром покати, то рыночное изобилие. В детстве, помню, хлеб выдавали 2 буханки в руки, а потому мы вставали в очередь и в «Большом», и в «Дежурном», ведь надо было как-то еще скотину кормить.

Дважды на сахарном заводе случались крупные аварии. Первая – это просто трагедия. Самолет местных пассажирских перевозок врезался в турбинный цех. Было страшно! Такой грохот, и среди ночи в друг взвыли заводские гудки. Как будто война! Погибли люди, и те, кто летел в самолете, и те, кто работал в ночную смену в турбинном. Долго еще потом ходили, золотые коронки из золы выгребали, монеты, часы, кольца, но мало что уцелело.

А потом прорвало огромную цистерну, и сладкая патока растеклась по всему рабочему поселку. В воздухе стоял густой приторный запах, и ходили мы по деревянным настилам, поскольку собрать эту тягучую реку не представлялось никакой возможности. Баба Натаха – местная пьянчуга, пришла тогда к сельскому многопрофильному врачу «33-Коновальчику» (он сильно картавил, и выполняя функцию логопеда, говорил: «Скажите тлидцать тли!»).

– Сынок! У мене, наверное, рак...

– Это почему Вы так думаете, бабушка?

Старушка ненадолго протрезвевшая, смущенно признается доктору:

– Я раньше как писать ходила? Сяду, и зажурчало, как у коровы. А теперь? Дж-ж-ж... и по ляжкам льётся...

Коновальчик бабу Натаху осмотрел, велел медсестре ее помыть: бабушка уснула во хмелю прямо на земле, а от па-токи-то все и склеилось! Из-за этой пьянчужки, кстати, меня не назвали Наташей – крестная воспротивилась.

Насчет катастроф говорить если, то когда Чернобыль рванул, в Воронеже потом в жаркий майский день выпал снег. Радужный такой, а мы его, дураки, ели и радовались! А вот в деревне через год или два морковь стала расти уродливой формы: два-три стержня срастались вместе, получался почти человек. Это жутковато выглядело, и возможно не было связано. Но после аварии на Чернобыльской АЭС любые формы мутации относили на ее счет.

Когда крестная работала в клубе билетером, она одевалась очень элегантно. Из-за нестандартной фигуры платья шила на заказ у знакомой портнихи тети Зои. Тетя Зоя жила со своей старенькой мамой бабой Дуней и нюхала табак. На Рождество меня наряжали в крошечный темно синий передничек, отделанный зелеными атласными лентами, и я шла к ним колядовать:

«Маленький мальчик

Сел на стаканчик,

А стаканчик – хруп! –

Подавайте рупь.

А рубля мало,

Дай кусок сала...»

Мне насыпали в передничек калачики, хворост и печеные яблочки, а потом разрешали сидеть на большом кованном сундуке и подслушивать рассказы про всевозможные болезни и даже «селитёр»!

В клубе и на танцплощадке с деревянной ракушкой эстрады Коля играл на гитаре «Аэлита» в ансамбле, и пел. А мы с Семеном Павловичем ходили туда через парк, неизменно задерживаясь у павильона «Пиво-Раки». А дальше были карусели «лодочки». В детстве они работали, но со временем как-то все обветшало, и мы раскачивались в тяжелых облезлых посудинах вручную.

От клуба к речке Вонючке тянулась липовая аллея. Там меня взгромождали на дерево – собирать липовый цвет. Я ужасно боялась пчел и ос, которых роилось тут великое множество, но не получила ни одного укуса!

А в августе, накануне Медового Спаса, мы отправлялись к пасечникам. Они жили тут же, по нашей улице, и несколько ульев у них ютились даже на участке у дома. В доме пахло только что выкачанным медом. Мне давали целый граненый стакан тягучего, искрящегося янтарем лакомства, и я уплетала его с булкой. Домой мы уносили трехлитровую тяжелую банку янтаря. Этот мед редко засахаривался – он столько не стоял, с моей помощью он просто не получал такой возмож-

ности!

После гибели Барсика под машиной, и безвременной кончины Марсика (крестная с прогрессирующей у нее шпиономанией утверждала, что его отравили соседи), двор долго пустовал без собаки. Но однажды папа Сеня пошел взять долг с дяди Юры Глухого – заядлого охотника, а тот пропился до последней возможности, но не желая обидеть уважаемого человека, всучил ему рыжего щенка, предположительно, охотничье породы. Это был Мишка! Он вырос в бойкого слабопородистого пса, но с повадками настоящего цербера. Дважды он срывался с цепи и кусал сельчан, приходилось откупаться и собирать ветеринарные справки. Эту собаку папа Сеня каждый вечер выгуливал по окрестностям. За помойкой в густых зарослях сирени Мишка охотился на ежей. Поймает ежа, перевернет и пытается выгрызть из колючей шубы. Но еж не так-то прост, и Мишка пофыркает исколотым носом, да и закопает злющий клубок.

Однажды на участке появился ежик Федя. Я привязалась к нему, кормила молоком и ло смерти боялась, что Федя по глупости докосолапит до будки. А как-то утром увидела Федю прямо в Мишкином домике. Живого и здорового, пыхтящего недовольно. А Мишка дрых безмятежно на улице. Собака и еж делали вид, что не замечают друг друга. Но еж часто хозяйничал в будке и миске дворового стража, а тот и ухом не вел!

Я сама Мишку боялась. И даже гуляла с ним только в сопровождении папы Сени. Пес отвыкал от меня за период учебного года, и когда я приезжала на каникулы – вновь облаивал с ног до головы.

Пару раз из-за духоты в доме мне ставили раскладушку во дворе. В сумерках по цементной дорожке шлепала лягуха.

«Сестра! – звала ее крестная. – Сестра...»

Не знаю, почему так называла, но мне очень нравилось. И я никогда лягушек не давила. Говорили, от этого бородавки будут на ноге, или пойдет дождь. Но я их опасалась – скользких, бурых, с умными глазами. Поэтому почти никогда не спала в саду.

Было еще что-то дремучее, темное. История про Домну Ивановну, давно умершую где-то в другом доме, в Нижнем Кисляе, но призрак ее витал в воздухе. И ночью в темный дверной проем я взывала тревожно: «Домна Ивановна! Домна Ивановна...»

Порою мне все казалось странным, пугающим. Рассказ о мешочке с «кладбищенской землей», который крестная нашла однажды, развязала, и с тех пор болела. Одинокие могилы водителей вдоль дороги, ведущей в Панино. Рассказы о всевозможных колдунах, которые коварные. Выспрашивают тебя нежно: «Ну, как вы живете, как мама? Все хорошо у вас?» А когда ты отвечаешь: «Да», прыскают тебе в лицо

руками и рывкают: «Возьми все мои болезни!»»

И еще меня завораживала природа: ненастье, вьюга, полуденный зной на лугу у реки, глубокое небо, без облачка и глубокий ров вдалеке...

Но его я видела совсем в другом месте.

Бахчево.

Мой дядя Тимофей Тихонович, слесарь-сварщик и по совместительству трубач сводного заводского оркестра, был женат на выдающейся женщине – заведующей парикмахерской Марине Никитичне. Тетя Марина в детстве была просто Маруся, но под влиянием молодежной моды имя поменяла. Она являлась счастливой обладательницей ножек 35-го размера и кучи флакончиков парфюмерно-косметического толка. А ее старенькая мама, бабушка Лёна, проживала в селе Бахчево.

Ехать туда надо было с вокзала в Юго-Западном районе. От станции отправлялся крошечный переполненный автобус, и я с изумлением пялилась в окно. Мы проезжали мелкие карьеры и горы! Зрелище впечатляющее, как будто ты попал в другую климатическую зону или другую страну. Сойти надо было, не доезжая до Бахчево, среди холмов, которые в детстве мне казались горами. А дальше по дорожке круто спускаться вниз до самой запруды на реке Бахча. После этой импровизированной дамбы начинался подъем, и весь участок бабушки Лёны располагался на склоне. А сам дом, большой, внушительный, на фундаменте, стоял на горе. За ним простирались колхозные поля, и открывался вид на такие дали, что дух захватывало. Вот там в белой дым-

ке виден был ров. Не овраг какой-нибудь, а именно – ров, вечная рана в земле. Он притягивал мой взгляд, внушая почти благоговейный ужас, порождая в воображении картины случайной гибели и невысказанных тварей, селящихся на дне этой чудовищной воронки, и прохода в иные миры. Наверное именно из-за рва, вперемешку с советским фильмом «Дом, в котором я живу», я рассказала брату историю о том, что ночью, когда все спят, ко мне приходит мой жених, Принц-Индеец. И мы спускаемся с ним на лифте под землю, минуя твердые породы и раскаленную лаву, до самого ядра. А там подземные жители – тоже индейцы, варят «лучистый колчедан» – волшебный камень, исполняющий желания.

Саша не поверил, и желая разоблачить вранье, выслеживал вместе с двоюродным братом моего жениха всю ночь. Но я, сладко выспавшись, наутро выкрутилась: ведь Принц-Индеец знал, что братья не спят, а потому не пришел. По требованию брата мы в городе варили «лучистый колчедан». Туда нужна была глина (мы ее пластилином заменили), натуральные черные волосы и волшебный «фарфор» – этот ингредиент померещился мне однажды зимой во льду, и я долго культивировала это странное понятие, произнося нараспев: «фар-фор!». В общем, какого-то еще компонента не хватило. Кажется, медного колчедана, вместо которого мы положили в кастрюльку самодельное медное кольцо – все равно палец от него зеленел. Кастрюльку, конечно, пришлось выбросить.

В Бахчеёво мне посчастливилось побывать дважды в разное время года. Поздней весной на роднике за «ледником» появилось множество маленьких лягушат. «Лягушачье царство», – сказала тетушка. И я уже размечталась о лягушачьих дворцах и каретах, о пажах-лягушках в бархатных ливреях, и о лягушачьих балах с угощениями из морошки.

Во дворе бабы Лёны все было необычным. Огород располагался на покато́м склоне. Здесь ирригация проводилась по особому типу – с заграждающими канавками и стоками, иначе картошка наверху посохла бы, а внизу просто сгнила. Был здесь и яблоневый сад – деревья посажены с умом, чтобы корни их предотвращали эрозию почвы.

Слева от большого дома в низине, в заросшей части сада, давно проданного кому-то, кто никогда не приезжал, спрятался «старый дом». Это была настоящая землянка, покрытая сверху травой, но не деревянная, а каменная. Дверца и окошко торчали прямо из холма, напоминая хоббичью норку, но тогда я еще понятия не имела о хоббитах.

Справа участок отделяли деревья и болотце. Там росла такая странная осока, похожая на бамбук плюющаяся пеной трубочка, и туда было страшно ходить, как в джунгли.

Запруженная Бахча под нашим участком была спокойная, мы купались на ней, переплывая на лягушачий остров. А вот ближе к станции Бахчеёво, русло реки расширилось, углуб-

лялось, превращаясь в отвесный овраг. И там, где надо было переходить к магазинам, протянулся подвесной веревочный мост, как над горной рекой. Весной Бахча становилась бурной и полноводной, а летом совсем мелела, и потому мост болтался на невообразимой высоте! Преодоление этого препятствия для меня было тяжким испытанием, благо сделать это пришлось лишь однажды, но впечатлений хватило на всю жизнь.

В Бахчево я увидела, как одна ящерица отбрасывает хвост, и другую, с уже отросшим хвостом – кривым и коротким. Бабушка Лёна поила меня козьим молоком, оно казалось мне отвратительным на вкус, и я тайком выливали его под крылечко. У бабы Лёны вывелся колченогий цыпленок, но его не стали рубить из-за меня. Я взяла цыпленка, играла с ним и гипнотизировала: если цыпленку спрятать голову под крыло и подержать над ним руку или книгу, он будет спать.

Дом стоял на семи ветрах, окна его выходили на все четыре стороны света, и никакого забора! А только уютная березка во дворе и тихая скамеечка под ней. Саша ездил в Бахчево чаще, и однажды привез оттуда спрятанную в спортивную майку «Буран» крольчиху Зойку. Это пухлое длинноухое несколько лет скакало по нашей квартире на 8-ом этаже. Ну, и приходилось же за ней убирать!

А когда баба Лёна умерла, дом отошел к тете Рае, старшей сестре Марины Никитичны, и мы больше никогда туда не

ездили.

Больницы.

Никто, наверное, так не любил больницы, как я. Но это все из-за еды, возможности спокойно выспаться, вечеров с обязательными страшными историями перед сном, и из-за повышенного внимания со стороны бабушек, которые тайком проносили запрещенные продукты. В больницах я лежала часто, и вжилась в этот хлорированный стерильный мир с вареной курицей на обед и хрустящим постельным бельем со штампом.

На Динамо, рядом со зданием лечебницы располагался парк. Мама привозила мне кулечек шоколадного драже, строго воспрещенного к передаче, брала за руку и вела по разрушенным ступеням вниз, туда, где комната смеха, тир, и где с руки можно было покормить белку.

Холодные коридоры по ночам гулко отдавались эхом. Дежурная медсестра дремала на посту, а я видела в коридорном окне Солнце, болтающееся во мраке, как бумажный змей. Я была «лунатик».

Мне нравилось смеяться в больницах и смешить других – меня ничего здесь не пугало. В изоляции под присмотром медперсонала я чувствовала себя защищенной. И я придумывала сказки, с годами они были уже про любовь, про кораблекрушение и таинственный остров, про девушку с гла-

зами кошки. Вот так я расставалась с детством.

В больницу на Бучкури я привезла с собой картинку с теремком – я сама нарисовала ее. Теремок был большой, разноцветный, у него открывались ставеньки и дверцы. Но играла с картинкой уже не я, а детдомовский мальчик Ванечка. Их положили человек пять сироток в одинаковых полосатых маечках, и они всех нас, девочек и женщин, называли «мама». Я была «мамой» для Вани. Он играл в мой теремок, засыпал у меня на руках, я выхаживала его после операции. Я просила маму: «Давай, возьмем к себе Ваню!». И устав что-то объяснять мне на взрослом языке, мама сказала: «Подумаем». И выписала меня досрочно, чтобы я могла проводить Сашу в армию.

Прощай, детство!

Он стоял за забором, обритый наголо, в мешковатом сером костюме, одетом поверх белой футболки. Долго нельзя было к нему подойти. А потом все ринулись прощаться, и он обнял меня наспех, а я обвила его шею, и не хотела отпускать, мне так было страшно оставаться одной, без него. Но ему надо было попрощаться с подружкой, с товарищами, с мамой, с отцом и всеми бабушками. Меня оттеснили. «Прощание славянки» под отправление поезда, и военный билет в окне.

Уезжал Саша. А с ним и мое детство босоногое – я становилась взрослой. Без него, строителя самодельного (настоящего) самолета, изобретателя домовых шашек, моего защитника и Рыцаря Зеленого пластмассового Совочка, моего совочка, который он отнял у дворовых хулиганов. Без него я стала полноправной хозяйкой нашей совместной комнаты, писала рассказы и стихи, училась играть на гитаре. Я торопилась взрослеть. Я узнавала мир иной – не созерцательный, а действенный. И этот мир мне нравился гораздо меньше.

Теперь мне кажется, я не смогла вспомнить и половины чудес Земли Моего Детства. Но как охватить и передать все это в мельчайших деталях, ничего не упустив? Кажется, уже

невозможно. Воспоминания все больше похожи на старый фотоальбом. Как жаль, что я не хранила фотографий! Но я помню все снимки.

Вот красная польская палатка на берегу речки Эртиль. Коля и Галя совсем молодые, и я пузатая, зареванная, в трусах и белой панаме: «Я вьяпаясь!..» – а неподалеку пасутся овцы.

А вот я прячусь за спинами брата и соседского мальчишки, чтобы проскользнуть без билета в кинотеатр «Заря» на Димитрова.

Вот мы идем долго, широкой шеренгой по Ленинскому проспекту, перекрыв движение, и сворачиваем на Чернавский мост. Ах! Расцветает шапка разноцветных огней в ночном небе, рассыпается звездами и тает в темной воде. И несется по головам гулкое, многократное: «Ура! Салют!!» В детстве все кажется сказочным.

А вернувшись домой усталая, я засыпаю на балконе, слушая грохот поездов, несущихся в другие города по ЮВЖД, и гул самолетов, взлетающих с испытательного аэродрома на Авиационном заводе.

И так же, как в детстве преграда век отделяла от жизни, так и теперь она отделяет от небытия. Ибо под веками всегда скрываются чудные видения: мир мечты, мир фантазии. Он безграничен, неисчерпаем. Вопрос лишь с том, насколько удастся задержать его силой. Как долго получится не раз-

МЕЖИТЬ ВЕК.